





Андрей Грицман
ГОЛОСА ВЕТРА

Стихотворения и эссе

МОСКВА

2010

Поэтическая серия «Русского Гулливера»

Руководитель проекта Вадим Месяц

Главный редактор серии Андрей Тавров

Оформление серии Валерий Земских

Андрей Грицман.

Голоса ветра. — М.: «Русский Гулливер»/Центр современной литературы, 2010. — 76 с.

Поэт Андрей Грицман сознательно или интуитивно принадлежит к двум культурам сихосложения: русской и американской. Перемещение между двумя чужеродными просодиями не всегда органично, но в процессе утверждения собственного поэтического голоса автор добивается того, что звучание его стихов становится уникальным, узнаваемым, наподражаемым. В книге собраны поэмы, стихи и очерки, посвященные теме ветра: человек смог выстоять на ветру, почувствовать его свежую горечь, обрести надежду... Грицману удалось передать настроения тысяч наших соотечественников, рассеянных волею судеб по всему миру: и он продолжает служить родной речи, где бы ни находился.

© А. Грицман, 2010

© В. Месяц, предисловие, 2010

© Русский Гулливер, 2010

© Центр современной литературы, 2010

ISBN 978-5-91627-034-1

ОБ АВТОРЕ

Андрей Грицман родился в 1947 г. в Москве в семье врачей. Окончил 1-й Московский Медицинский институт им. И.М. Сеченова. С 1981 г. живет в США, работает врачом, специалист по диагностике рака.

Пишет по-русски и по-английски, публикуется в России с середины девяностых в журналах «Октябрь», «Новый мир», «Арион», «Вестник Европы», «Новая Юность», «Сибирские огни», «Зарубежные записки», «Новый журнал» и других.

Стихи и эссеистика по-английски публикуются в американской и британской периодике: «Richmond Review» (London, UK), «Manhattan Review», «New Orleans Review» и многих других. Стихи были включены в несколько международных антологий и переведены на несколько европейских языков. В 2008 г. вошел в шорт-лист престижной американской премии Pushcart Prize.

В 1998 г. закончил литературный факультет университета Вермонта со степенью магистра искусств по литературе.

Автор книг стихов *Ничейная земля* (Альманах «Петрополь2»), 1995; *Вид с моста* (Слово-Word, Нью-Йорк, по-русски и по-английски), 1998; *«Двойник»* (Эрмитаж, США), 2002; *«Пересадка»* (Арион), 2003; *In Transit* (Бухарест, на английском и румынском языках), 2004; сборник стихов *«Остров в лесах»* (Пушкинский фонд, Санкт-Петербург) и книги стихов и эссе на английском *Long Fall* и *Pisces* (США).

Организатор международного клуба поэзии в Нью-Йорке и редактор журнала поэзии «INTERPOEZIA».

<http://magazines.russ.ru/interpoezia/>

<http://magazines.russ.ru/authors/g/gritsman/>

<http://www.antho.net/library/gritzman/index.php>



ЧЕЛОВЕК ВЕТРА

Опорой нашей жизни по сей день остаются четыре универсальных элемента: «земля», «вода», «огонь» и «ветер», видимое, обоняемое, вкушаемое и осязаемое. Универсальные, элементы являются не чем иным, как разновидностями осязаемого: им соответствуют твердость, гладкость, теплота и легкость (или же обратные: мягкость, шероховатость, холод и тяжесть). Термины, предназначены не только для описания физических и физиологических явлений, они годятся и для описания психологических, символических, мифологических вещей. Юнг напоминает, что в арабском (и соответственно в еврейском) слово ruh обозначает как «дыхание», так и «дух». Именно в этом смысле ветер воспринимают алхимики, о чем свидетельствует труд Ямсталера «Viatorium Spraguricum» (Франкфурт, 1625). Проведя классификацию ветров и пронумеровав в определенном порядке, он соотносит их с кардинальными точками знаками зодиака, пытаясь раскрыть их космическое значение.

7

1.

Обращение Андрея Грицмана к теме «ветра», обретение основы именно в этой стихии, привело не только к расширению образа, столь любимого фольклором, но дало появление совершенно иного лирического типа, заставившего прочувствовать центробежное разбегание мира, потерю безопасности, уюта, при приобретении легкости передвижения и овладением огромных географических пространств. Главное, что может сделать поэт для укрепления и обозначения себя в литературе — создать некий доминирующий символ собственного существования. Пушкин с дуэльным пистолетом, Хлебников с наволочкой, полной стихов, Пастернак — вечный подросток (обычно опускается устойчивый эпитет «прыщавый»), Бодлер с раком на поводке, Паунд с глобальными песнями, Дилан Томас с валлийской деревенькой, возвысившейся до уровня вселенной. Андрей Грицман (созна-

тельно или случайно) стал «поэтом на ветру». Поэтом на мировом ветру. Причем создал такую поэтику, которая заставила смотреть на космополитичного «гражданина мира» не с позиций отечественного национального чванства, а как на что-то принципиально новое, ранее в поэзии диаспоры не наблюдаемое. Масштаб его обращения, высокая трагическая нота, взятая как бы наугад, оказалась подлинно пронзительной, явно более многозначной, чем пафос ностальгического прозябания или приправленный поэтической техникой и философией сентиментализм.

«Я знаю, что ни на каком языке я снов не вижу.
Я не вижу снов на языке, но я верю,
мне голос какой-то иногда слышен...»

«А оказалось — дрожать на ветру насквозь
совсем не сложно».

Трудно сказать, что определило безусловную победу этого выбора: личный талант автора или сама тема, ставшая до боли знакомой тысячам современников, но то, что Грицман ввел в нее невиданный до этого трансцендентный градус, — это факт.

8

Аскеза, а поэзия для меня одна из ее разновидностей, может осуществляться двумя способами. Первый — вариант отшельничества, подразумевающий уединение в безлюдных местах. Второй — путь странника, оставившего родину, дом, друзей и любимых (путь «странствующего рыцаря», например). Так вот, путь Грицмана может быть сравним с образом такого вот отрешенного путешественника, которому наш глобализированный мир предлагает более широкие способы самореализации.

«Не трогайте регулятор веры,
вообще отойдите от гроба,
— оставьте в покое.
Дайте дослушать как погасает
в бесплотном театре заката
бесплатное море, полотна Европы, бесплатное поле,
за семь шекелей пыльная Яффа,
и Ялта в вечерних огнях —
пересадка на Галлиполи».

Это из поэмы «Хамсин», говорят, за 50 дней, царствования этого ветра в Леванте люди немного сходят с ума. Для печали у поэта есть и другие причины:

«Любимая, приезжай скорее;
На это есть смертельные причины.
Четверть века — это совсем не время,
если влиться душой в бесконечное ускорение
и от дома вовремя найти ключи.»

Лирика, доведенная до эпического уровня, благодаря синхронизации личного голоса с безличным рокотом ветра. Я не встречал в русскоязычной поэзии, написанной за рубежом, более трогательных и завораживающих вещей. Я тоже — «ветропоклонник», тоже когда-то именно в ветре находил опору во время моих перемещений по миру. Мне кажется, что «Хамсин» мог бы стать своего рода гипертекстом, включающим в себя вздохи и выкрики многих наших соратников по рассеянию. И это не литературный прием. Ветер служит универсальным музыкальным инструментом, способным подхватить наши множественные голоса, сложить их в молитву и псалом. Андрею Грицману, услышавшего голос Хамсина на своей исторической родине, это удалось.

2.

Собственно, все равно в каком ландшафте стоит поэт: в индустриальном, архаическом, пасторальном... Ветер выравнивает все окружающее, обрушиваясь на пространство души, где все эти пейзажи присутствуют одновременно. И это, увы, не индивидуальное свойство личности, это положение вещей мира, где падение манхетенских небоскребов и показ мандалы далай-ламы в Катманду находятся в одном измерении. Борьба с современностью бессмысленна, вопрос лишь в том, как ты распорядишься потоком информации, летящем на тебя вместе с ветром, какую тональность выберешь, не позволив душе расколоться на тысячи частиц и душ, как это, видимо, предполагается преобладающим образом жизни, а найдешь в себе силы выбрать одну единственную. Индивидуализм не предполагает существования и развития личности, это — лишь набор детерминированных типов поведения, при котором шаг в сторону обречен на неприятие, а скорее всего — на равнодушие. Грицману этот раскол было преодолеть сложнее, чем многим. В одном из исповедальных очерков он пишет: «Мне пришлось долго ждать своего голоса. Но я дождался — и начал говорить «стихи» со своей собственной интонацией, и по-русски, и по-английски. Было внутреннее ощущение, что я получил право голоса, и голос мой загрубел, «сел», и «сломался» в процессе коренного перелома, переселения и потери всего, что было

домом...». В какой-то степени, я (и наши друзья по Нью-Йорку: Владимир Гандельсман, Владимир Друк, Ирина Машинская, Лиля Панн, Марина Адамович) были свидетелями становления этого голоса, происходящего на фоне стремительных (со стороны непредсказуемых) переломах личной жизни, именуемых в приложении к биографии поэта — судьбой. По существу, гул, который транслировал поэт последнее десятилетие, с этой судьбой перекликался. И друзьям, думаю, нетрудно будет вычислить происхождение той или иной строчки в его стихах, другое дело, что общее ощущение от текстов (их можно даже не перечитывать) в какой-то момент кристаллизовалось, сложившись в ясную, целостную картину. Вчерашний добряк-медведь, изо всех сил старающийся не задеть плечом стеллажи фарфора в посудной лавке, наконец, нашел свое место под солнцем — он просто вышел из нелепого посудного магазина, именуемого «литературным процессом» и встал посреди площади на ветру. Оказалось, что это его положение позволяет не обращать внимания на кажущуюся небрежность рифмовки, произвольность ритмических сбоев, неточность формулировок, фонетическое несовершенство, влияние англосаксоныки, отсутствие принадлежности к какой-то определенной традиции и школе, случайность образов и неразгадываемость метафор, переборы с объемом, строчные длинноты, интонационные незакругленности, исповедальные крайности, абстрактный гуманитарный подтекст, увлечение списками, зачарованность многообразием форм жизни и предметов, без явного предпочтения чего-то конкретного... Удивительно, что то, что и называется отсутствием стиля, в случае Грицмана этим стилем и стало. Причем сработало не привычное правило под названием «гни свою линию», не расчет на внушаемость аудитории, а именно ставка на ветер, на одну из главных стихий этого мира, которая есть не только шевеление воздуха, но и сам дух. А разговор духа всегда сложен, если не витиеват (есть надежда, что избежать эффекта «испорченного телефона» все таки можно): что скажет Господь, что услышит Моисей, как изложит услышанное Арон, что поймет народ... На мой взгляд, народ поймет. Потому что хочет, потому что это народу надо.

«Судить о себе, пожалуй, не рано,
но, всё же, не ясно, имеет ли смысл.
Потому что душа обрела язык
и заговорила вслух, не имея слуха,
говоря к имяреку».

3.

«Второй ветер» этой книги ложится в долину Гудзона. Интонации меняются, ужесточаются, строки укорачиваются до уровня афоризма или вновь растягиваются вместе длинными наплывами ветра. Поэт прожил в Америке тридцать лет: в предисловии говорит, что хотел бы поделиться впечатлениями. Что ж можно и так. О сложных вещах можно говорить просто. Итак, к какой классификации Ямсталера отнести этот ветер? На чем настоян он? Что привнесли в нее воды Гудзона, этой великой «кругосветной реки» Фенимора Купера и Тома Вейтса? Андрей пишет о наших родных местах, радость узнавания мешается с взглядом свидетеля и наблюдателя.

«Мы на время уходим, всего на неделю,
до начала недели,
а находим себя в безымянном мотеле
на смятой постели,
с цепочкой на двери.

Джаз дождя по окну
табабит неровную тему,
и гудит грузовик на развилке хайвея.
Ты лежишь и не веришь,
что это случилось с тобою».

Боже, как грустно узнавать себя в этих строках: и нет выхода? Почему, в конце концов, я уверовал в цельность, в возможность таковой? «Быть прямым в кривом, цельным в раздробленном». По моему, ветер, как одна из самых чистых вещей на свете, к такому состоянию души, располагает. Более того, я скучаю по этому ветру. По ветру в долине Гудзона. Хотя меня в тех краях ветер нес в самую отчаянную неизвестность. Пусть мы и научились с некоторых пор чувствовать себя дома одновременно везде и нигде. Америка — не только сеть дорожных коммуникаций и благоустроенных отелей среди лесов и прерий. Грицман связан с культурой этой страны, принимает ее всерьез, и, в силу своей вовлеченности в контекст, служит ей преданно и самозабвенно.

«Здесь тени бредут великих безумных, потерянных в мире:
Эдгара, Уитмена, Аллена, Крейна.
Портовые краны висят, как судьба, как исчадие гари
над гнилью жилья, скорлупой ресторанов, мотелей,
и статуя светит над бездной знаменiem веры».

Поэт за рулем. Опьянение скоростью также может менять природу души, способствовать ее переходу с одного уровня на другой. «Кочевник асфальта» — не обязательно прожигатель жизни, искатель сильных эмоций. Как ни странно, лучшие строки и мысли чаще всего приходят именно во время вождения автомобиля. Уход от профанного состояния к высокому может осуществляться самыми обыкновенными способами. Была бы на это воля поэта. Грицману этот «диониссийский порыв» к лицу, он — человек рискованный.

«Летят за Бангором на север безбрежные мили —
на север, наверх, на Квебэк, на дыханье Гольфстрима,
как детская память, синеют канадские ели,
и души заброшенных ферм проносятся мимо».

С самоиронией звучат последние строки поэмы, отколесившей вместе с автором все восточное побережье.

«И привычно зажить по закону заморского кода,
по режиму химчистки и часа последнего трэйна.
Так уйдут в энтропию любви все последние годы.
Легкий троп озвучит мой путь в суете бесполезной».

12

Пора «энтропии любви» подходит к концу, приходит время чего-то более важного, истинного, того, для чего ты призван в этот мир. Человек, так долго стоящий на мировом ветру, способен, должно быть, идти и против ветра. Мужественности у поэзии Андрея Грицмана на это хватает.

4.

Есть еще одно чувство, при чтении стихов Грицмана, меня не оставляющее. С характером погоды мы определились — «было ветрено», а вот с местом... Не знаю по какой причине, но меня его стихи последних лет неумолимо возвращают на «граунд зеро», на могилу символических торговых башен-близнецов — удивлюсь, если событие 11 сентября 2001 года стало для кого-то лишь курьезной страницей истории. 2001 год мы встречали вместе, на горнолыжном курорте в Вермонте. Накрыли стол в отеле, включили телевизор, разговоры о поэзии перемежали незловивыми вздохами о том, что «родина нас забыла». За окном — настоящая зима, где «лапы у елей дрожат на весу», вполне по-русски побрякивают тройки с бубенцами (для туристов), «лыжи у печки стоят» и т. п. Господина Буша-младшего и жену его Барбару Буш я впервые увидел непосредственно перед

торжественным «боем курантов». Обсуждение было коротким. До физиономических оценок мы не опускались, манера речи слуха не покорила: удивила мешковатость нового президента, форма бровей-домиком (я до сих пор размышляю, что может появиться в голове у человека имеющего такую графику лица) и то, что передвигается он на чуть согнутых в коленях ногах. Общее мнение: нормальный мужик. Сойдет. А ведь оба пишем прозу! Внимательные вроде люди. В общем, Ломброзо поставил бы нам «неуд.», сто процентов. А ведь мы встречали новую эпоху, а не какой-нибудь очередной «симулякр»! Поутру лепили снежных баб, угощали друг друга коньяком, что так янтарен на солнечном снегу. Не могли даже представить, что еще чуть-чуть и «поедем... и помчимся».

Так вот. То ли по причине этих сладких воспоминаний, то ли потому что сам когда-то жил напротив Мирового Торгового Центра (через Гудзон) и писал собственные поэмы о ветре¹, лирический герой Грицмана всегда помещается в моем воображении неподалеку от зияющих пустот и вавилонских развалин двух бесславно погибших небоскребов. Поначалу трезвость Вайнбергера или эстетство Бодрийера казались кощунственными. «И свежей как заря удивлены утрате». Хуже. Мы плакали, словно утрата произошла в родной семье... Годы и расстояния смогли примирить нас с либеральными мыслителями. Остается пожать плечами. Да, это так.

«Во всех речах по поводу терактов и во всех комментариях опускаются заключенный в этом событии катарсис, и ослепление, им вызванное. Моральное осуждение, организация священного союза против терроризма — реакция соразмерна чудесному ликованию, заключенному в созерцании разрушения мировой мощи, больше того, созерцании ее саморазрушения, зрелище самоубийственной красоты. Поскольку именно красота, своим именем, разожгла всю эту ненависть, взрастила ее в мире, отчего и возникло это воображение терроризма, которое бессознательно живет во всех нас». (Ж. Бодрийар, Дух терроризма, «Le Monde», 2001)

И еще:

«С хронологической точностью можно констатировать, что в 10 ч. 28 мин. 11 сентября 2001, с крушением двух башен Всемирного торгового центра, воплотивших в себе мощь и блеск глобального капитала, закончилась эпоха постмодернизма. /.../ Реальность, подлинность, единственность — категории, которыми было принято пренебрегать в поэтике постмодернизма, основанной на повторе и игре цитат, на взаимоотражении подобий, — жестоко за себя отомстила». (М. Эпштейн. Взрыв, а не всхлип, 2001),

Для отечественной литературной полемики это — общее место, немного отошедшее на второй план, поскольку «настройка по-прежнему определяет базис» повсеместно, чуть ли не самым законным образом. В России этот нонсенс, несмотря на родное моему сердцу отсутствие «родовой травмы» и «вопиющие пережитки феодализма», становится стилем жизни, политики и культуры. Но «мы хотим умереть так же страстно, как вы хотите жить» — голос ветра.

5.

В поэзии Андрея Грицмана этот самоубийственный акцент тоже слышан, пусть речь «о священном море Байкал», о «холмах Грузии печальной», или в прочих «мексиканских дивертисментах». Стихи его также подвержены «ходу выветривания», «расщеплению сознания», «астеническому синдрому» «пафосу саморазрушения», лишний раз подтверждая, что «мы — не врачи (пусть А.Грицман — практикующий доктор), мы — боль.

«Побег на восток —
Единственный путь на запад,
На запах, на слух, на вдох.
Медные звезды в безучастном небе.
Города — осколки света во мхах».

Восток призвал когда-то к избавлению от боли, запад загнал ее внутрь и подсел на прозак. Мне пассивность такой позиции не близка (неконструктивно), но в том то и дело, что боль, отданная ветру, уже не боль и даже не жалоба. Такая речь имеет потенциальную возможность стать призывом, гимном, псалмом, далеко превосходящими все любовные марсельезы. О базисе и настройке, о месте поэзии в иерархии цивилизации у меня особое, на первый взгляд, слишком резкое мнение. Не вдаваясь в детали, скажу, что именно поэзия и призвана этим базисом быть. Положение «изящной безделицы», «отдушины», «средства общения и времяпрепровождения» унизительно. Поэзия должна быть чем-то гораздо большим: не гуманитарной величиной, а универсальной, общечеловеческой и даже сверхчеловеческой. Терапевтическое амплуа не годится. Я говорю о силе поэзии, о власти, которую она должна себе вернуть. Хотя бы потому, что «вначале было Слово». Не думаю, что эти соображения пришли мне на ум в разговоре о стихах Андрея Грицмана случайно. В обществе явственно возникает требование к искусствам и поставляемого ими опыту

«перебросить мостик над разделяющей дискурсы познания, этики и политики бездной и проложить, таким образом, путь к некоему единству опыта. У этой всеобщей тенденции есть один безошибочный признак: главной задачей становится ликвидация наследия авангардов»². Инстинктивное желание эти тенденции поддержать (мое, в частности) на сегодняшний день представляется мне сомнительным. Вторичность авангардных практик, их бессмысленное вялое копирование достойно упрека и раздражения, но на другом полюсе я вижу нечто еще худшее — политический академизм, призыв к порядку, желание единства, идентичности, безопасности, общедоступности, все, что может уберечь сознание людей от сомнения. Единство и целостность возможны лишь при наличии в обществе неоспоримой духовной цитадели, а ее нет и, боюсь, уже не будет. В этом смысле остается надеяться только на себя, и на людей своего типа: генетически он природою сохранен, а писательство, следующее моде и эклектике во времена отсутствия эстетических критериев, можно вообще не принимать в расчет. В конце концов, всегда побеждают вера и способность на риск.

«Ты сумасшедший, не сиди на сквозняке!» — голос из давней глубины, несравнимый, незабываемый, дальний, возвращающий в нереальную относительную реальность, напоминающий то, что ты еще жив, голос звучит, и чертова зажигалка гаснет на ветру, рвущимся из гавани, открытой всем ветрам и не прикурить, если не сложить ладони, прикрыв от ветра.» Удержаться можно. Особенно, когда в качестве опоры используешь одну из основополагающих стихий. Родную речь.

«Оказалось всё гораздо яснее и проще:
ничего нет и ты наедине
со своим детством
и своей речью»

Вадим Месяц, Ясенево, 30 окт. 2009

¹ В. Месяц. «Ход выветривания», Черновик, вып. 12, Нью Джерси, 1997.

² Измененные цитаты из Ж.Ф. Лиотара и Ю. Хабермаса.



О ВЕТРЕ

«Монах волосатыми пальцами книгу захлопнул — сентябрь. Посеял Язон...» переводные четкие блики слов, залетевшие из юности. Ветер поднимается и стихает. Ветер носит много имен. Сносит преграды. Это воздух, которым мы дышим, он уносит лепестки, листки с незаконченным текстом, листает страницы книги и вдруг открывает случайно, стихает и остается текст, буквы, которые открыто смотрят на мир, в то время как другие прищурились, зажмурились и спрятались в бумажных ущельях закрытых страниц.

«Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет» — набор незаменимых слов, брошенных на ветер, детская переводная картинка ветра, залетевшая в душу навсегда. Ветер — движение. «Список кораблей прочел до середины. На головах царей божественная пена». Обрывки этой пены летят к нам через столетия, через страшные ледяные глыбы Колымы и вечной арктической ночи, где сатана правит свой безъязыкий бал а адском лунном сиянии.

Но, где-то в районе Леванта, над морем среди земли, струи хамсина встречаются с нежным дыханием мистралья и смешиваются в потоки живой прозрачной воздушной воды и там — живет человек и плывут строки, строки, как лепестки, обрывки. Потом — воздух холодеет, шуршат стекленеющая осенняя листва, замерзшие брошенные газеты с замороженной позавчерашней жизнью, но все равно — жизнью. Это движение, ветер, порыв, вектор, кровообращение, когда сердечные клапаны хлопают, как чистый флаг на ветру.

Боже, детский сквозняк, детские болезни, мир обещаний и увещеваний, постоянная диалектика сквозняка из открытой форточки и свежего воздуха, необходимого для выздоровления, для красных кровяных телец, больно покусывающих кончики пальцев, когда наконец выйдешь и зажмурившись смотришь, глядишь, видишь — у ветра запах другой — проснувшийся, свежий, живой. Март еще не пробился насквозь, но уже жизнь набухает под спудом и ветер несет надежду на весну, чудесную неожиданную встречу и на дальнюю поездку навстречу степям и южному ветру с легким привкусом рыбы, влажной гнили и цветущего темного оврага.

Сухая библейская весть хамсина, жесткая правда песка: глаза слезятся и рассмотреть реальность невозможно. Да ее и нет — есть только генетика того, кто ты есть, и палец поднятый по ветру дает направление в никуда. Потому что, стоишь на том, что ось земная рядом под ногами и песчаный ветер с периодичностью строф засыпает тропы к месту встречи с исторической судьбой.

Ветер несет над Атлантикой небесные лайнеры и теплые души, в них уснувшие, и проснувшись, вдыхающие другой влажный, туманный, переменчивый воздух. Долина Гудзона — аэродинамическая труба, центростремительная сила, тянущая в сторону от тоски неизбежности, в любую сторону, куда дует ветер — мир открыт, как мореходная карта трансатлантического рейса, когда приоткрываешь полупьяные глаза, видишь фосфоресцирующий экран и на фоне мерцающего квадрата, прекрасную незнакомку в синей униформе, с неизвестной, но предсказуемой жизнью где-то в обжитом дальнем кубике многоквартирных сот в аккуратном пригороде Амстердама, Праги или Франкфурта.

А ледниковая глыба обитаемого острова, обтекаемая океанским ветром дает временный приют нам, уставшим в дороге и присевшим у спасительной скалы за столиком у входа в Starbucks. И вдруг окликает голос: «Ты сумасшедший, не сиди на сквозняке!» — голос из давней глубины, несравнимый, незабываемый, дальний, возвращающий в нереальную относительную реальность, напоминающий то, что ты еще жив, голос звучит, и чертова зажигалка гаснет на ветру, рвущимся из гавани, открытой всем ветрам и не прикурить, если не сложить ладони, прикрыв от ветра. Будто стараешься рассмотреть и понять что-то в своих собственных теплых ладонях.

ХАМСИН

(поэма)

Я обменял шекели на пиастры,
разделил канделябры на восемь.
Научился кашлять по-итальянски,
(как Горький на Капри),
но так и не научился писать песен.

«Тахана Мерказит» смешалась с «Термини»
и с Казанским,
аравийский хамсин сдувает пену
с тополей на Пресне.
Когда о небе, я уже не понимаю
речь идёт о каком глянце.
Да, и вообще, больше не важно «как»,
только «если».

Например, если ты со мной, —
это и есть дома.
Значит, и без меня Гудзон
листьями выстлан как золотой чешуей ножны.

Когда-то думали так:
чокнулись мыслями за чаем-
и на боковую.
А оказалось — дрожать на ветру насквозь
совсем не сложно.

Осторожно, двери закрываются, но ты
уже совершил поступок,
ступил в другую жизнь,
ты вечно ищешь
всё ту же нежность.
Кривится пространство, но правдиво время,
и оказывается, что любая канной площади,
книги говорят вслух, всё обещано
и друзьям навечно.
Оказалось вомната безбрежна.

Когда-то казалось, что март всерьёз
струится вниз к переименовсё гораздо яснее и проще:
ничего нет и ты наедине
со своим детством
и своей речью.

Следующая: Курская-кольцевая,
пересадка на Виа деи Счипиони и Бен Ехуда.
Много школьников, начало уроков, конец года.
И блудный наш брат вместе с нами
через восемь минут сегодня утром
увидит обещанного пророка.

Следующая станция уже за схемой,
да и схема сама в наше время
только символ веры.
Метрополитен похож на пещерный город,
где римляне сбили надписи над пещерами.

Провалы города дышат сыростью.
Это медленное дыхание камня.
Так не глеют газеты, планктон или жимолость.
Это вино из глубинной давяльни давней.

Трёхтысячелетний луч света, дошедший от солнца
тронет дно — и светлеет сознание.
И жизнь становится встречей
не с Эребом, а с Эрец,
а не только длящимся расставаньем.

Средиземноморье лучится всё так же.
Шестой флот застыл атоллами,
скальными островами,
и даже «Фантомы» в электронной лазури кажутся
разыгравшимися греческими богами,

заглядывающими через плечи туристов в газеты
в киосках, где на первой странице Ирод
на встрече в верхах,
когда низы получить визы

и досидеть остаток жизни в кафе
уже не могут.
Лозунги на стенах гласят: «Ждать бесполезно»,
но, тем не менее, прекрасно,
и потому стоит.

Светит месяц, а кому не ясно.
Красный крест, словно след крови
«Гамзы» балканской.
Со скал-минаретов ветер воет по-мусульмански,
и нам, слава Богу, свистит под сурдинку
в телефонных трассах коры
городского мозга.

«Становится тише,
когда узнаёшь о солнечных нитях
над черно-серой пустыней
и мысли садятся на кроны деревьев
и поют на световой ноте.
Есть ещё песни не спетые там,
где совсем безлюдье».

21

Что видит всевышний,
как пилот «Эл-Ал» сверху:
под молочной пенкой Одессу, Газу,
многохолмистый город в полудне анабиоза.
Все заняты ритуалами,
то есть, попыткой забвенья.

Выситя кремовый Маале
Адумим и напротив военной базы
бедуин высушен
у шоссе и не ведает о терпении.

Не трогайте регулятор веры,
вообще отойдите от гроба,
-оставьте в покое.
Дайте дослушать как погасает
в бесплотном театре заката
бесплатное море, полотна Европы, бесплатное поле,

за семь шекелей пыльная Яффа,
и Ялта в вечерних огнях —
пересадка на Галлиполи.

Кто первый бросил краеугольный камень?
Кто первый вышел на музейную площадь?
Всё смешалось, ни шагу назад,
безымянна пустыня за нами.
Здесь каждое дерево — знамя
в ничьей оливковой роще.

Я бы до слёз вернулся в мой город,
только не знаю в какой.
Меняют просодию
успехи градостроительства.
Сам не ведая, исчезаешь
упоительно чёрт знает как далеко.
И лишь Налоговое Управление
знает твоё место жительства.

Но всевышний и сам разберется.
Он, по-моему, всё ещё занят названиями.
Ещё не все синонимы даны любви
и, извини, Пушкин, дружбе.
Что может быть прекраснее расставания
в одиночестве на чужом побережье с прошлым

«И это имеет значение,
потому, что всё, что мы говорим о прошлом
есть описание вне места,
слепок воображения,
воплощённый в звуки
и поэтому то, что мы говорим о будущем
должно предвещать,
жить в своих собственных подобиях,
уподобляясь рубинам, краснеющим рубиновым цветом»,

в одиночестве на чужом побережье с прошлым.
Или в плывущей пустыне
на остановке Эн-Хазева,

где нет понятий поздно или рано.
Мир обращается раз в тысячу лет вокруг Негева
и, оказывается, солнце спит где-то в пещере Кумрана.

Вода родилась в роднике, в Эйн-Геди
на дальнем краю
опавшего осеннего райского сада.
Глиняная старуха в автобусе рядом со мной не ведаёт,
что она потомок той,
что спаслась в Массаде.

Нет ничего слоистей, глубже, горше.
Никому не нужная соль
без насущного хлеба.
Но здесь глаз расширяется
до размеров неба или моря,
и беспредельно просит
всё больше и больше.

Господи, как расплести языком беседы
анонимные нити этого бесконечного света.
Набираешь какой-то номер, узанный у соседа,
и бесполой голос вторит в ущелье эхом:
«Ждите ответа».

Сажу и жду.
Стакан сока превращается в апельсиновую рощу,
бокал «Мартини» — в оливковую,
дыхание в атмосферу.
И все наши разговоры, сомнения,
стихов химеры
в рассеянном свете тоже кажутся
символами веры.

Сандалии сношены. Очки обязательны.
Акцент превращается в прикус на языке оригинала.
Все камни разбросаны.
Совершенно не собраны.
И все время кажется,
что в салате майонеза и уксуса мало.

Генерал Оливье, жирная гадина,
сидит на банкете рядом с атаманом Укропом.
Оказывается это то, чего ради мы,
дамы и господа, драли жопу.

Парламент пристрелян, даунтаун разгромлен,
¶пожар подползает к заправочным станциям.
Но мы спокойны за телевизионным экраном дома,
потому что в бумажнике есть квитанция

на случай необходимости срочного подтверждения,
получения санкции или, скажем, без рецепта.
Суверенность подтверждают уверенные телодвижения,
особенно, если почти без акцента.

(Любимая, приезжай скорее;
На это есть смертельные причины.
Четверть века — это совсем не время,
если влиться душой в бесконечное ускорение
и от дома вовремя найти ключи.)

В мире дальше ехать некуда, конечная остановка.
Немного неловко за опоздание,
здание закрыто и из подвала плывёт запах плова
различимый даже и на таком расстоянии.

В тысячу лет. Это уже совсем сумерки человечества
в тенетах медиавизма.
Слава Б-гу, у нас хоть были отчества,
часто подозрительные,
но всё же нормальные элементы
зрелого государтсвенного организма.

Две тысячи лет — это уже «до вашей эры».
Экскурсия звучит оправданием,
комментарием к истории Юстиниана.
А что им ещё оставалось между Сциллой и Харибдой
каменной веры и бредом
вакханалии какого-то хана?

Господи, прости их, они все о едином.
Ещё раз — это не вырази́мо словами.
Одно и то же по-эвенкски и на ладино
имеет в виду ностальгию,
но означает лёд и, в то же время, пламя

На чёрном пламени сияющими глаголами и слогами —
чёрный бархат Вселенной числами выткан.
Овечий пророк, длиннобород и полигамен,
словно позирует на иерусалимской открытке
в последнем киоске в зоне.

Покупка виз на турецкой таможне —
сбор налогов в параднике второго Рима.
Там беззвучен стон подземного Эчмиадзина!
Мы этого понять больше не можем,
потому и спокойнее, что непредставимо.

Айвазовский гонит эвксинские волны
по анфиладам дворцов,
где томно тонут гаремы.
Это места, где ты втянут невольно
в архитектурную дискуссию Ромула и Рема

Волчицы одичали и спят на помойках,
в гниющих нишах за лавками специй и сувениров,
пахнет гарью Босфор.
Когда тянут за рукав, отказаться неловко,
и монеты летят в пасть древнего мира.

Города мира аккуратно укомплектованы
в огромные залы под электронным наблюдением.
Экскурсанты спят на лужайках Рима,
и незримо засыпаны каменной солью
бездонные ярусы Иерусалима.

Мир — держит по курсу, доллар крепчает
как ветер с Атлантики.
Хлопают двери банков.
Пуста комната Пруста,

и как пропуск в романтику
шелестит пластик в прохладе ресторанов

Автоответчик приветственно сообщает
ответы на все вопросы:
кто, куда, зачем и насколько.
Позвонишь ей раз десять
из разных будок с космического мороза
и становится почти совсем не больно.

С другой стороны, история не даёт ответов,
и, поскольку общее место, ничему не учит.
Из любой дыры по и-мейлу можно передать приветы.
Но страшно признаться,
что всё это только случай.

Чай остывает, наливается мятой.
Чужая жизнь на нёбе горчит приятно.
Душная ночь на подушке мятой
тем прекраснее, чем она более безвозвратна.

Я знаю, что ни на каком языке я снов не вижу.
Я не вижу снов на языке, но я верю,
мне голос какой-то иногда слышен:
чудные строки, но если проснуться —
это состав уходит на дальний канадский север.

Хамсин — это пятьдесят вдохов и выдохов
пустыни, спящей под мутным терракотовым небом.
Время исхода, когда всё безвыходно,
то есть маца кончилась, но осталось
полно хлеба.

Это хамсин: много песка, дефицит кислорода.
Только хасиды о'кей и патрули с М16 и с Узи.
С Леванта грузовики с джинсами плывут в Новосибирск,
как караваны свободы,
и обратно женское карго
из портов перезоненного Союза.

Оксаны, Татьяны, Сони и рижские Лаймы,
их аттестаты зрелости свежие как банкноты.
Рыщет золотоносное поколение
трёхпроцентного выигрышного займа
в поисках добычи вокруг Эвксинского понта.

Сунь тёплый пластик в щель
в стене мечети султана,
и человекочасы зашелестят
как песок в часах библиотеки совета.
Я скучаю, но домой звонить ещё рано.
Странно, что АТ&Т быстрее скорости света.
Слова были вначале или Слово?
Олово речи в тигле синего времени.
Попробуй переведи на язык оригинала «Нашедший подкову»,
найденный в бутылке на странице без имени.

Оставьте в покое историю и юриспруденцию.
Какая там ответственность?
Каждый сам за себя решает, сколько осталось.
В икс-хромосоме живёт моя смерть
и моя женственность,
и по мере возможности,
я стараюсь не есть сала.

Азбуки языков рассыпаются как арабская мозаика,
чтобы не дай Б-г не создать образ
подобием образа.
Писание летописи слева направо —
это удел прозаика.
Наше правое дело — на волоске от истины
поиски голоса.

Я теперь спокоен,
потому что знаю, где сидит фазан,
и сколько гульденов стоит въезд на остров Манхэттен.
Мне так и не удалось побывать на горе Синай
(не потому что Египет),
но теперь уже неважно и это.

В середине лета
я вернусь во влажное лоно
моего довоенного дома в плюще и сухих лианах.
Я окончил школу долины нижнего Гудзона
и так изменился, что мне больше не страшно и не странно

потерять и его.
И не оборачиваясь
закреть дверь и уйти в горящий
лес после исхода лета.
Вот и хорошо, что больше
некому жаловаться,
разве что коту,
которого теперь тоже нету.

Хорошо также приезжать в Лефортово
и сидеть на своём единственном клочке
на мёртвой пасеке у улья с пеплом.
И тянет уже не гранулирующая рана,
а тепловая точка,
которая всё более крепнет.

Что особенно кстати в январе,
когда грунт твёрд, и алкаша с лопатой
не дозваться в подвале.
У стены часовня одиноко стройна и легка.
Там свидетельства выдают в прохладном чернильном зале.

Скоро время вечерней поверки,
а я и не знаю, в какой список
я занесён пожизненно.
Какая личина, что за кличка, что за доля.
Но как-то легче, что такой
я не единственный, построенный с другими
на краю вечернего поля.

Я знаю, что поздно уже, да и зачем
выбирать для души сосуд в разливочной:
стакан, стопку или пивную кружку.
Дыши свободнее пока сиреной вожатые не позовут
на этот последний за смену ужин.

Но всё же странно, что всегда и везде
становится напряженно,
когда вызывают, называя фамилию и имя вместе.
Это же просто моё отражение.
У него есть форма и чувства, но у отражения
не может быть гордости или чести.

Ни тем более священной миссии
навек и поныне. Снова:
каждый сам за себя в ответе.
Священным хамсином свищет
ничья истина
в простреленном и запеленгованном
квадрате пустыни.

Судить о себе, пожалуй, не рано,
но, всё же, не ясно, имеет ли смысл.
Потому что душа обрела язык
и заговорила вслух, не имея слуха,
говоря к имяреку.
Это такая чудная, пульсирующая сила,
что для убеждения стали не нужны руки.

29

Говорю: душа со слуха
выучила разговорный язык
и теперь в кафе на салфетке
рассеянно чертит знак «алеф».
А дальше не важно, как подвыпивший диббук,
пусть снова поджидает кого-то
в больничных дворах и на вокзалах.

Где всё наполнено копотью, костной мукой,
дымом и тенями транзитных судеб.
И когда проезд оплачен,
состав тронется и всё поплывёт мимо,
я по тебе скучать — да и вообще буду
хранить в себе вечно каменную пыль Иерусалима.

Иерусалим, 1998 г

ПРИМЕЧАНИЯ:

Хамсин: слово арабского происхождения, означающее пятьдесят. Имеется в виду, что примерно пятьдесят раз (дней) в году из пустыни дует сухой ветер, смешанный с песком, при этом бывает пониженное содержание кислорода в воздухе. Считается, что это психически и физиологически влияет на людей. Так, в некоторых странах Ближнего Востока суды накладывали более мягкое наказание за преступления, совершенные во время хамсина.

Тахана мерказит: главная автобусная станция в городах Израиля Термини: крупный вокзал в Риме

«*Становится тише...*»: перевод короткого стихотворения еврейского немецкоязычного поэта Пауля Целана.

«*И это имеет значение...*»: перевод из программного стихотворения американского поэта Уоллеса Стивенса.

Эн Хазева: небольшое поселение в пустыне Негев.

Эйн-Геди: древний оазис в пустыне с известным источником.

Массада: иудейская крепость, построенная во времена царя Ирода, последний оплот сопротивления римлянам. Почти все защитники, вместе с семьями, предпочли покончить с собой, чем попасть в рабство. Согласно преданию одна семья (женщина с детьми) спаслась в расселине скалы и выжила.

М16 и Узи: соответственно автоматы производства США и израильский. М16 считается более надёжным автоматическим оружием и находится на вооружении у парашютных войск и наиболее важных частей регулярной армии.

Диббук: согласно еврейской мистической мифологии блуждающая душа, не вселившаяся в тело.

ИЕРУСАЛИМСКИЙ СИНДРОМ (Вид из Нью-Йорка)

В больницах Иерусалима есть по несколько коек, отведенных для людей с психическим заболеванием, называемым «иерусалимским синдромом». Это странное состояние, в которое приходят приезжие: некоторые начинают проповедовать, другие представляют себя Иисусом Христом, третьи попадают под машину. Профессиональных объяснений этому явлению много, но ни одно из них не раскрывает до конца сути психического состояния. Смещение времен, смешение эпох, наложение пластов археологий. Синдром был описан израильскими психиатрами как форма религиозной мании у христианских паломников, которые в бреду предвещают второе пришествие. Однако странное состояние охватывает самых разных людей в различных формах.

Понять Иерусалим по рассказам невозможно. Археологический слой первого храма, римские развалины, второй Храм, Стена Плача, столетние слои арабских поселений, руины Оттоманской империи, сочетание субтропического климата с остатками болот ближе к Тель-Авиву, в долине Айялон, и над всем этим — каменный серо-палевый Иерусалим на холмах. Это район Средиземноморского высокогорья. В Иерусалиме все здания из одного и того же камня: серовато-желтый, твердый, не блестящий, с неровными насеченными поверхностями. В городе запрещено строить здания из какого-либо другого вида камня, поэтому весь он выдержан в одном цвете.

Иерусалим стоит на скалистых холмах, скальных выходах этого камня, и из них же и построен. Это — органическая, историко-геологическая часть рельефа древней пустыни, ползущей по направлению к Средиземному морю, но остановившейся, задумавшись, и взгромоздив бастионы слоистых скал. В наиболее чистом виде этот феномен существует в пустыне Негев у древней крепости Мосада на скальном взлете над Мертвым морем с видом на загадочно дремлющую Иорданию на противоположном берегу. Здесь воздух недвижим, как время, и очертания лагеря римских легионов, осаждавших крепость, сверху видны настолько четко, будто войско совсем недавно покинуло лагерь и покатилося на Тиверию.

Резкие тени бегут по сухим склонам, опускается, но еще палит, солнце, у двухтысячелетнего лагеря бедуинов в 3 км от Иерусалима по дороге в современный кремовый пригород Маале-Адумим

пасутся овцы, стоит мангал, пирамиды камней, но людей с хайвея не видно. В Старом Городе допьешь кофе или кока-колу из ледяной банки, отойдешь от столика кафе, сделаешь шаг в проход, под каменный низкий свод — и пахнет тысячелетней сыростью, непредставимой, уплотненной. С уловимым привкусом глубокой древности. Глинистый овраг или заброшенный котлован так не пахнут. Там сырость не археологическая, она — от растений, листвы, недавно умерших, но еще живущих своим посмертным брожением. В Иерусалиме можно рассеянно отбросить носком ботинка глиняный черепок, а он, — с вавилонских времен. Три цивилизации похрустывают под ногами. Все сжато, но не смешивается. Эмульсия вечности.

Над соседней долиной, в стороне от Рамаллы, постоянно стоит торжественный библейский дым. Это свалка, куда свозят мусор из нескольких арабских поселений и которая медленно горит днем и ночью. В темноте наэлектризованной ясной ночи, которые бывают только в этих местах, вдалеке виден Амман в виде стаи мерцающих светляков, медленно плывущих по краю каменистой пустыни. На самом деле, Амман довольно далеко — километров 60—70, однако из-за долин и складок местности реальное расстояние значительно меньше, поэтому иорданская столица видна довольно ясно. Пограничный пост Алленби на реке Иордан, ставший знаменитым еще во времена британского мандата и боев за независимость Израиля, сравнительно недалеко. Интересно, что в Иордании сохранились все римские поселения, так как по какой-то причине кровавая волна Османского наступления остановилась на реке Иордан.

В Израиле есть ощущение реальности жизни и реальности, актуальности, сиюминутности древней истории. Духовная история нашей цивилизации не только связана с ландшафтом, она и является ландшафтом этой земли. Вокруг узнаваемые лица: Восточная Европа, Россия, американцы. В Цфате (древний религиозный каббалистический центр) во время ночной прогулки я увидел в освещенном окне йешивы моего юного отца над книгой, а днем на иерусалимской улице в угловом кафе сидела моя бабушка, родом из Лодзи, с приятельницами. Нью-Йорк и Израиль — Вселенная перемещенных лиц, где случаются чудеса и в толпе порой мелькнет родное лицо.

В маленьком еврейском квартале Старого города сефарды держат кофейню на площади, люди выходят из подъездов с сумками

за покупками. Арабский рынок открыт, туристов немного, так, зайдет хозяйка купить мяса или местные ребятишки — горсть восточных сладостей. Армейские патрули на привычных местах, их немного, говорят, что здесь — наименее вероятное место для взрывов. По-прежнему лежат и висят аккуратными рядами отрубленные телячьи головы с застывшей улыбкой, открытыми туманными глазами и вываленными языками. На старом еврейском рынке на улице Яффо этого не увидишь. Несколько кварталов являются собой пропасть между культурами и традициями.

Западная Стена (Стена Плача) немногочудна, толпы рассосались, в основном, по Европе и Северной Америке. Моросит мелкий дождь, несколько хасидов клюют невидимые зерна у стены, площадь перед стеной заполнена окоченевшими бронетранспортерами и патрульными машинами, их обитатели плавают часами в сыроватом сигаретном дыму.

На прощанье я сделал снимок снизу вверх — неровная кладка древней стены, упорные кусты, горизонтально лезущие из стены, выше другой мир с довлеющим золотым куполом мечети, покрывающим магический камень и еще выше небо: Храмовая гора с Западной стеной на глазном дне Всевышнего, как отражение чего-то

33

сонное иерусалимское утро взрывается яростным полднем, стёкла вспыхивают неземным огнем и разлетаются сотнями шрапнельных осколков и вырванных с мясом пуговиц. Это моменты, когда земля перестает метафорически гореть под ногами, а переплавляется в физический распад близких. Спрятаться от этого негде. То есть, можно где-то (на жизнь, а то на две и на три), но не в себе. Встречи в верхах несут, сдуваемую вниз газетную гарь, валяющуюся на углах чужих городов до следующего утра, или века, в зависимости от степени некомпетентности городского управления. Которое в любом случае завалено более важными и срочными ходатайствами и прошениями: о канализации, налоге на продажу свиных колбас в угловых магазинах и т.п.

Встреча в верхах: Камень. Синай. Крестоносная ночь. Лунный ландшафт стекленеет навечно. Вечность долины становится речью. Весть по холмам — патрульным лучом. Храма руины — воздушные замки. Воздух расколот на сотни глотков. Круг перемирия наглухо замкнут. Праздник отложен на десять веков.

Глухо твердеет последнее слово. Жизнь удивленно разводит руками. В гор горловину лунное олово льется безвременно издалека.

В солнечной пыли — истина света, мистика ветра, дымная горечь.
Высокогорье — вместилище эха. Горные трубы вещают о горе. Ры-
ночный гул. Ничего кроме детства не остается для оправданий.
Сколько в долинах возможно селений? Холод. Земли безразлич-
ной свечение.

Камень. Закон. Нам некуда деться.

БАЙКАЛ

Тальцы́ — стрельчатые конусы
На берегу ледяной Вселенной.
Атлантида Сибири.

Стрела Ангары.
Хлопок рассветного расстрела
В леднике века.

Бурятская охрана —
Низкая косая сажень
В подземелье дискотеки.

Остров ампира в весенней грязи.
Собака лает, ветер носит.

Улан-удэ, ундина в долине Ангары.
Донный дым гибели.
Энтропия любви, время игры.

35

Свечи мерцающих судеб
На обеснеженной равнине.
Скоро Тулун.

Тулун. Ледяные ямы сортира.
Медведь на цепи.
Газовый туман крытой тюрьмы.

Братская ГЭС.
Сатуновский глядит в пучину.
Скоро смена.

Азиатский оазис.
Темное дыхание
Уставшей степи.
Деревянные идолы безымянны.

Бездонна бездомность.

Только багульник
Как треснувшее стекло времени.

Теплые чаши душ
Плывущие в глуши похмелья.
Утренний глоток дыма падает в небо.

Побег на восток —
Единственный путь на запад,
На запах, на слух, на вдох.
Медные звезды в безучастном небе.

Города — осколки света во мхах.

Кромка стынувших рек
Поздней весны востока.

Русский восток —
Красный восход без исхода.

Стаи омуля, плывущие
В жертвенном дыме
На краю живого мира.

Могилы над Байкалом —
Перископы святых.

Пейзаж Григорьева:
Пятна снега,
Пятна света
В проеме стены,
В куда-то, где-то.
Стоп-кадр души места.

Потный аквариум, грохот.
Сибирские наяды
Извиваются в дискотеке.
Не смотри, козленочком станешь.

В тени Химпласта
Храм повис в небе.
Просторный запах свежей древесины.

Бурятские боги молчат в чаще.
Чаша неба с замерзшей водой.

Байкал.
Стекло льда.
Звук дна.
Длань зимы над весной.
Снег сна.

Сибирская Корона, Кроненбург.
Край тайги.
Тяжкий выдох Химпласта.

Звон льдинок — выпускниц университета
Им. Адмирала Колчака
Гаснет на закате судеб.

37

Здесь пацаны не пляшут, тел извив,
Хвосты из нежных торсов продавщиц.
Езжай домой, себя не погубив
В калейдоскопе их летящих лиц.
Немного странно: ретро из глубин,
И тающие страсти до утра.
Сверкание опереточных имен.
Мутация, метеорит, искра.

Весна, весна, и вправду весна.
Ну и что? Время разбрасывать кости.
Время таящих цветов в гостиницах.

Кафе «Вернисаж», штабной вагон Реввоенсовета,
Вросший в вечную мерзлоту Юкоса.

«Сибирская корона».
Летит пена к Ледовитому океану.

На озерном зеркале — звезды,
Отражения душ
Пол суток тому уснувших
По ту сторону зеркала.

Пломбир, Байкал, Памир
В ларьке у метро Парк Культуры.
Далее везде

* * *

Дальнее дыхание весны,
Облака невидимый полет.
Ночью электронный лет звезды
ищет свой эфирный антипод.

И пока молчанье долготы
отражает падающий снег
площади полночные пусты:
треск реле да гул ночных планет.

Некогда в воронежских лесах
я один лежал — гуд проводов
в нищем поле говорил судьбой,
в сумрачных низинах таял страх.

И теперь, когда седой глагол
выдает, как шубы, реквизит,
воздух, пролетевший дальний луг
тихо из отверстия сквозит.

Бессловесен мертвенный экран.
Отсветы мерцают стороной.
Но, как довоенная, с утра —
сукровица снежная весной.

* * *

Услышав голос тихий и глухой,
остановлюсь с протянутой рукой,
сжимая прошлогоднюю газету.
Снег падает по направлению к лету
и замирает где-то за рекой.

Гудок оттуда хриплый и глухой
все тянется без эха, без ответа.
Я в сумерках ищу источник света
за городской невидимой чертой,
давно уже от стаи той отсталый.

Слетает незаметно снег усталый.
Его ловлю я ртом,
и, застегнув пальто,
гляжу в незамерзающие лужи,
гордясь лишь мне заметной красотой,
и радуюсь: могло бы быть и хуже.
И странно, что оставлена была
за рубежом осеннего стекла
рукой рассеянной
полоска этой суши.

* * *

Летопись вдоха —
глухой разговор:
вяжется незаметный узор,
зреет неизмеримое зренье.
Мягко шуршит оседающий кров.
Спящею кошкой прошлое дышит.
Если прислушаешься — услышишь
тихий янтарь застывающих слов.

* * *

Летя над океаном снега,
подумал я, и слава Богу,
что невозвратная дорога
видна в овальное окно.

Глаголом жечь остались братья
в глухом похмелье бытия.
Там, в рамке, в черно-белом платье
стоит наедине семья.

Там пограничной цепью годы
с клочками виснувших забот.
Сто проводов и сто обедов,
и пущена наоборот

та пленка на обрыве века.
И замирает до утра:
ночь, улица, фонарь, аптека
и весь в черемухе Арбат.

* * *

На чужом полуострове сердце спокойнее дышит.
Там лежишь, как на дне, и себя только слышишь.
День проходит, как пасынок ночи,
как боль по погоде.
Ты приходишь, стоишь, словно звук Пастернака
на мерзлом пороге.

Не понять, не остыть, не оставить:
откуда все это берется?
Это сердце, напившись прибоя, медлительно бьется.

Память вьется плющом по чужому фронтоу,
по фронтоу голландско-кирпичного дома,
тщетно в мире ища очертания дома.

Слышен шорох плавней Каролины,
дыханье прибоя.
Постоишь на пороге и снова
сливаешься с морем.

С морем в зоне воронки
опасно напрягшейся ливнем.
Ожиданье напрасно, но жизнь —
ожиданье, и в нем
нарастает загадочный гуд
как в детской трубе водосточной.
Так прощаются с детством всю жизнь.
Но и это заочно.

* * *

Брожу по местам преступления
и как Ходасевич дышу:
свободно, весенне-осенне.
И, как сумасшедший, все жду,
что что-нибудь да случится.
Летающая, словно взор,
случайно-прекрасная птица
прокаракает свой приговор —
до боли знакомого неба.
Объявит, и я побреду
от мест, где любили, налево,
к заливу, к закатному льду.

СЕНТЯБРЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ

Опадают пепельные лица
осенью в Нью-Йорке.
Асбестовое солнце не гаснет
ни днем, ни ночью.
Многоглазая рыба на суше —
взорванный остров.
Крыш чешуя
зарастает цветами.
В гуде сирен —
безответное небо.
Сумерек астма —
в аспидном кратере порта.
Люди бредут на пожар.
Рыбы плывут м где поглубже.
Парки пусты на рассвете,
и только колеблемо ветром
Нежное поле
проросших под утро сердец.

ДОРОГА НОМЕР ОДИН

Складская, слободская и пакгаузная,
фабрично-выморочная,
мазутно-газолиновая,
обызвествленная артерия
от ржавых Аппалачей
сквозь бифуркацию тоски
в бескровный тлен пустых мотелей
и далее везде: в зеленый водоем
бегущих крон,
ночных радиоволн
уснувшей Атлантиды,
где в обмороке улиц — фосфор
бессонницы, невидимых и днем
перемещенных лиц.

НАД МИРОМ

Который год над городом висит промокший войлок.
За горизонтом безнадежно сушат порох.
Молчит Аврора. Медленный Гудзон
трепещет. Газолиновые волны
щемящей дымкой улетают вдаль:

к Неве, Ньюфаундленду, за Полярный круг,
где шапкой термоядерного взрыва
сияние небес висит невыносимо.
Новая Земля: мишень Хрущёва —
непостижима в водородной гари.
А с Ноева ковчега смотрят твари
как экскурсанты с борта корабля.

Конец столетья. Ликование душ:
вольнотпущенниц решением ОВИРА.
Зелёный мягкий пропуск на три мира,
где гражданин и всеу обиватель груш
свободен в выборе истории и сыра.

47

Открытый мир нас ждёт, разинув пасть,
и мы готовы сладостно упасть
в глухую ностальгию невозврата,
к любым воротам, где нас больше нет.
Дана одна лишь жизнь,
в чём мы не виноваты.

Я — в аэропорту у дикого плаката
«AIR INDIA» с гагаринской улыбкой,
с тобой невстречи жду в конце эпохи зыбкой,
невстречи жду с тобой,
печален, счастлив, нем.

* * *

Не до свадьбы, но все перемелется.
За стеклом — бесконечна крупа.
Словно в небе воздушная мельница
распахнула свои закрома.

Что-то снег не по времени ранний.
И тогда я себе говорю,
что затянутся свежие раны
к ноябрю-декабрю, к январю.

Вот уеду, и все разрешится:
время лечит, дорога легка.
Хоть в Канаду, там все ж заграница.
Синий паспорт, не дрогнет рука,

протянув его девушке в форме.
Да, вот так, гражданин USA.
Волка ноги до времени кормят.
Отдохну, на дорогу присев,

на транзите, у стойки, у бара,
где себя хоть на время застать,
до посадки, и есть еще время
пограничные штампы листать,

где на паспортном фото тревожны,
чьи-то, словно чужие глаза.
Мы разъехались неосторожно,
так друг другу душой не сказав

ничего. Так, наверно, и надо:
хлопнув дверью, не загрустить
и как птицу из райского сада —
душу по ветру отпустить.

НЬЮ-ЙОРК

Стечение времен, где не находят места
провалы голосов, зияние извне.
Сыреющие дни, под сумрачным навесом
окрестных городов дрожащие огни.

Гниет река и, чувствуя начало,
гербарий осени торжественно раскрыт.
Прохладный тлеет парк,
над брошенным причалом
сочится свет в церковные дворы.

У зеленой — языческие краски,
и статуя корейца на углу
безжизненна. Закат. Витрины гаснут.
День бесконечен. Я тебя люблю.

ВЕТЕР В ДОЛИНЕ ГУДЗОНА

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Пришло время поделиться своими американскими впечатлениями, накопленными почти за тридцать лет жизни в этой стране. Скорее, мне хотелось передать свой личный эмоциональный опыт трансформации в русского американца.

Когда-то я начал писать стихи, — во-первых, потому что просто не мог не писать, но также из-за того, что в свое время, в юности, не очень-то умел логическим образом высказать свою правду более «умным», или образованным, приятелям и собеседникам. Со временем мне это стало удаваться образным, метафорическим путем, когда в свободном полете метафоры то тут, то там сверкнет истина, чтобы потом исчезнуть, оставив, однако, дуновение памяти.

50

О чем же эта поэма? Это история потери дома, поисков дома и обретения его на воздушных путях судьбы. Меня иногда спрашивают — где же он, твой дом? Конечно, родина — это Москва. Никому свои детство и юность не отдашь: мартовские ручьи на 2-й Мещанской; быстрины на Истре; серебряные сугробы на Кропоткинской по дороге от Дома Ученых к метро; футбол в дворовой «сетке» у стадиона «Локомотив» и «Волжское крепкое» в подъезде у «Преображенки». Эти образы, каждый из которых имеет особый смысл и открывает дверь в свое «зазеркалье», можно развить в некий знаковый ряд, по нему ощутить вехи жизни.

Несмотря на кажущуюся обжитость нами Америки, для пришельцев она все-таки дышит чем-то отдаленно чуждым. Несмотря на благоприобретенную комфортабельную домашность мест, где выросли дети. Это, и несколько необычная северно-южная природа (сосны, ели и лианы вдоль индейских охотничьих рек), южные леса и холмы покрыты тонкой трехсотлетней коркой англо-саксонской и германской пуританских культур, а на обоих побережьях переливаются цветные осколки иных цивилизаций: средиземноморской, южноамериканской. Ветер с гавани и бесконечная клубящаяся даль медленно катится на Север вдоль долины Гудзона, омывая белые островки прибрежных городков, выглядывающих со дна зеленого вязового моря.

Но дом образовался, в конце концов, и здесь, в Америке, и подобно стране под названием «Москва», мы обрели новый, которым

является страна «Нью-Йорк», где тоже «каждый камень знает». Здесь выросли дети, вспыхивала любовь и настаивалась горечь. В двух километрах от места, где я сейчас пишу эти строки, покоится прах моей матери — в зеленом холме американского кладбища, больше похожего на ухоженный парк, в отличие от старых российских кладбищ, напоминающих мелкоколесье, мелкие садовые участки и заросшие дачные малинники. Когда-то я писал, что получаешь право на землю, когда в нее ложатся твои близкие...

В Нью-Йорке возникает чувство, что ты на месте, дома, все открыто — и выход в Атлантику, а там и в Средиземноморье. И чем-то близкий новоанглийский хвойный Север. Нью-Йорк — город перемещенных лиц, портовый город, пересадка, большой вокзал, с которого мы почему-то не поехали дальше, а остались, достали жареную курицу, выстроились в очередь за кипятком, — вот это и стало домом.

После 11 сентября в этом городе никогда не повторится прежний закат. А особенно — восход. Если бы, как это было в «досамолетную» эпоху, сейчас по-прежнему плыли бы караванами тысячи переселенцев через Атлантику в Нью-Йоркскую гавань к карантинному Эллис-айленду, еще издали был бы виден им зияющий остов острова надежды: за факелом статуи — гигантский каменный дредноут с индейским именем, взорванный в гавани. Но Гудзон, на котором стоит город, омывает и смывает все, и каждая весна рождает новую надежду у обитателей долины.

Теперь моя жизнь, после многих перемещений в пространстве и перипетий во времени, полностью связана с этой рекой — жильё на берегу вблизи дельты, где вдалеке различим разворот гавани, и другой дом — в лесах штата Нью-Йорк, в трехстах километрах севернее по долине, у истоков Гудзона. Это глухое место на севере в лесах — стало для меня лучшим местом на этой земле. Так что, жизнь проходит в ощущении пульсации ветра, то тянущегося на север в леса Канады к Арктике, то рвущегося домой к гавани на Атлантику — и далее, в колыбель Леванта.

Ветер — это одновременно звук, движение, напор и свежесть, но также — смешение запахов горючего, индустрии, рыбного рынка и весенних цветов в парках вдоль реки. Поэтому и поэма так названа — «Ветер в долине Гудзона». И десять лет назад, другая большая поэма тоже родилась в ветре — «Хамсин»: сухой, песчаный ветер иудейской пустыни, который навсегда оставил след на моей коже и в душе.

Неосознанно эта поэма о Гудзоне писалась давно, кусками, фрагментами, как «Листья травы», и, наверное, будет длиться и плыть по долине. Большинство фрагментов-глав поэмы написаны в последние месяцы, некоторые родились в виде своих американоязычных собратьев и затем переложились на русскую просодию с «американским акцентом». В ней нет одного постоянного размера или ритма, а скорее — смешение голосов и интонаций одного лирического героя, который и является героем поэмы. Так же, как и автор — говорящий то громче, то тише, то возбужденно, то раздумчиво. Так же, как течет или взрывается речь человека, который хочет про себя что-то объяснить, порой малообъяснимое.

Здесь нет социальных, политических или культурологических оценок. Но есть отражение развития sensibility (культурно-эмоционального внутреннего портрета героя), рассказ «о времени и о себе»: эмигрантское привыкание, обживание местности, любви и разлуки, восприятие культурного ландшафта многих мест, периодов жизни и судьбоносных событий, павших на последние почти тридцать лет. Это: Вашингтон и Нью-Йорк, Техас, Майами, Восточное побережье, 11-е сентября, трагедия Нового Орлеана, Луизиана, множество переездов и расставаний, ностальгия по потерянному дому и обживание нового.

После первых пяти лет жизни в Америке ностальгия по утраченному дому стихла, и возникло чувство новорожденной бездомности, как бы второго рождения с генетической памятью прошлой жизни.

Мне пришлось долго ждать своего голоса. Но я дождался — и начал говорить «стихи» со своей собственной интонацией, и по-русски, и по-английски. Было внутреннее ощущение, что я получил право голоса, и голос мой загрубел, «сел», и «сломался» в процессе коренного перелома, переселения и потери всего, что было домом... Поэзия, прежде всего, — отражение судьбы, исповедь, или, если хотите, глоссолалия души, попытка понять философию, созданным самим собой, инструментом сенсорного, метафорического познания, через улавливание подспудного ритма, как внутреннего, так и окружающей жизни. Улавливание этого ритма, этой периодичности, видимо, и является эмпирическим, субъективным поиском связи со Всевышним.

Более внимательный читатель заметит и отметит в данном тексте исторические вехи в жизни этой страны и культурно-географические «горячие точки». Здесь нет объективной оценки

страны или событий, но есть попытка поэтического исследования собственной трансформации в этой, второй жизни, после второго рождения. Несколько сторонний взгляд — с одной стороны, инсайдера и активного участника здешней жизни, а с другой, внимательного лазутчика — позволяет рассказать русскому читателю о новом мире на его родном языке и на знакомом понятийном уровне. Отсюда — и разные голоса, многоголосье поэмы; отголоски, включая «подслушанное», — например, женский драматический монолог.

И еще — мой опыт стихотворчества на английском (мир, в который я залетел случайно двадцать лет назад) открыл для меня надъязыковый, «примордиальный» импульс поэзии, который выливается в язык. Но, существует он как римически-звуковая эмоциональная прозрачная структура в горном воздухе поэзии *до* «оформления» стихотворения, на том языке, на котором душе естественнее рассказывать о своем житии.

Важно понять, что у нашего поколения переселенцев ностальгическая нота имеет отношение не обязательно к стране, к земле и т.п., а скорее, к прустовскому «утраченному времени», ощущаемому «перемещенной душой», отплывшей вместе с «перемещенным лицом» к другим берегам и далее — вверх по долине реки к заповеднику ничейных, безъязыких лесов.

ВЕТЕР В ДОЛИНЕ ГУДЗОНА

Поэма

Все ярче листва на закате столетья и странно,
по-прежнему время вращать времена не устало,
как карусель в цепенеющем парке перед закрытием,
в час, когда тени сдувает с холодных скамеек
безжалостный ветер.

Костры разожгли на углах, пешеходы подходят,
и незнакомцы глядят в тебя пустыми глазами,
как боги в музее.

К счастью, пивные открыты,
а в глуши не закрыты ларьки,
далеко посевная, и три одичавших души
согревает бутылка.

54

Горланят сограждане песни последнего боя,
и пива навалом, свалило начальство,
и спорить нам не о чем больше.
С праздником! Нас пригласили,
отметь этот день, дорогая.
Может быть, это последняя встреча.

Ветер в долине Гудзона. Стремительный конус —
вектор погоды, летящий на север, к Канаде.
Там горизонт арктический мертвенно светел,
и истекает за льдами явление жизни бесследно.

Не нужно ни спорить теперь, ни влюбляться, ни ждать
последних известий. Вести с неволи дойдут сами собой
спозаранку
своевременно,
радио выключи — нету прощанья, лишь ветер-подранок
тучи несет с океана на странные страны.

Тридцать почти, почти тридцать летучих, прекрасных, тяжелых и
предпоследних —
волоком, по золотому ландшафту заката столетья.

с ними, давно замолчавшими в шуме событий.
Эхо беседы за чаем, по средам, в малиновом свете.

Джаз дождя тянет ноту в начале недели.
Вселенная измороси. Мотели,
пакгаузы, склады, станции, магазины
застыли в пригородной низине.

Здесь такое приходит на ум,
им, запаянным в автокоробках:
не сойти бы с ума, не свернуть бы налево.
Славно жизнь передумать, сначала и слева направо.
Но следить за дорогой — не проснуться б калеккой.

Как букварь первоклассника, оставленный дома,
задержаться на лето в тихом городе вязов.
Я последний из здешних,
кто останется с верой
в то, что время безгрешно,
в то, что школа откроет пудовые двери
и впустит обратно, на время.

56

Мы на время уходим, всего на неделю,
до начала недели,
а находим себя в безымянном мотеле
на смятой постели,
с цепочкой на двери.

Джаз дождя по окну
тарабанит неровную тему,
и гудит грузовик на развилке хайвея.
Ты лежишь и не веришь,
что это случилось с тобою.
Вот и время пришло,
как Толстому, восстать,
выйти в звездные двери.

Вторит сигналом ложной тревоги
Зубчатый город на горизонте.

Чутко листва шелестит по погоде.
Радио вторит о ложной тревоге.

Мегарекламы, пакгаузы, рощи.
Ложной тревогой радио ропщет.
Безостановочно стелет дорога.
Только проверка, сигнал, не тревога.

Радио вторит: «тревога, тревога».
Местность в туман утекает полого.
Мерный сигнал проверки системы,
пульс электронной далекой антенны.

Пульс мой в порядке: машина, работа,
Бензозаправки, дожить до субботы.
Жизнь с повтореньем сигнала тревоги
без остановки, до раннего снега.

Может, звонок твой пропал в стратосфере.
Вторит сигнал сквозь провалы, просветы.
Голос мой вторит сигналам тревоги.
Падает снег на пробелы дороги.

57

Шоссе непрерывно, пульсирует, тянет,
вконец исчезает за ложем ледового следа.
Темнеет. Залив засыпает под медленным дымом.
Прибрежные штаты затянуты солью, мазутом,
и ржавчиной пахнут лощины непоправимо.

Здесь тени бредут великих безумных, потерянных в мире:
Эдгара, Уитмена, Аллена, Крейна.
Портовые краны висят, как судьба, как исчадие гари
над гнилью жилья, скорлупой ресторанов, мотелей,
и статуя светит над бездной знаменiem веры.

Так странно — здесь целые семьи живут, умирают,
и звезды над пирсом глядят безучастно на судьбы.
Как студни медуз, засыпают, скучая, кварталы,
и самоубийцы летят на огонь светляками на Харли.

И далее вниз, вдоль воды, навстречу Спрингстину.
Струна от гитары парквэя гудит неустанно,
и бешеным током бегут огоньков караваны.
Во сне вспоминают селенья забытые давние страны.

Созвездья застыли над осью мостов и разводов,
и волны на берег идут в военно-морском безрассудстве.
Тогда вспоминаешь, как глухо, и странно, и пусто
бывает душе в безымянном мотеле под утро.

В заштатном прогорклom мотеле остаться в дороге.
Плток из-под крана и вдох детергента, провал за порогом.

С газетой вкусить наслаждение момента ухода,
пытаясь понять: что не случилось с тобой — случилось с соседом.

С газетой залечь и прочесть некролог о бухгалтере местном:
Маккарти, О'Райли, иль Джонсон, почивший и пресный.

58

В четверг отпеванье, прощанье отныне и присно
в соборе Зачатья на улице сонной, где шепчутся листья.

Я знаю тебя, твою жизнь, твою смерть, твою душу,
газонокосилку и Бьюик и песню из Пресли под душем.

Но, где-то кончина в глуши ДНК сокровенной.
Тебя волновали погода и акций паденье в inferно.

Я тоже волнуясь, глотаю снотворное зелье.
За пыльным окном проплывают кремлевские ели.

Томлюсь до утра в этом донном безродном мотеле,
кварталах в пяти от твоей еще теплой постели.

Складская, слободская и пакгаузная
дорога вдоль окраин — тоска истовая:
фабрично-выморочная,
мазутно-газолиновая,

обызвествленная артерия
от ржавых Аппалачей
сквозь бифуркацию тоски
в бескровный глеч пустых мотелей.
И далее везде: в зеленый водоем
бегущих крон, ночных радиоволн
уснувшей Атлантиды,
где в обмороке улиц — фосфор
бессонницы, невидимых и днем
перемещенных лиц.

Long Beach Island. Креветки на распродаже.
Бездомные чайки рвут Wall Street Journal на пирсе.
Забитые ставни лавчонки, жаренца на пляже,
горячий песок и ползущие дюны без леса.

Но рыбные лавки открыты: омар, лососина,
хрустящий картофель с треской — британское счастье.
Причалы пропахли мазутным горячим и тиной.
И весь городок — лишь мишень рокового ненастья.

59

Здесь россыпь девчонок в веснушках, словно песчинки,
вспорхнет и исчезнет в седеющем облаке соли.
И жизнь незаметно, как деньги, проносится мимо,
как стая газет по парковки замерзшему полю.

С Атлантики ветер — и остров как Атлантида
уходит под воду, чтоб снова подняться барьером,
и вновь защитить колонистов от гиблого ига.
Потом все стихает и долго рокошет на север.

Но остров горит, словно взорванный, на закате,
и бриз на ничейной соленой земле горько-свежий.
Сюда не дошли соплеменники веры на легком фрегате.
В болоте и плавнях пропала с командой надежда.

Но вновь католическим блеском зажглись и остались
заморские лица ирландско-levantского склада.
Потом расселились и слились, и тянутся мили
слепых городков, тоскливых мотелей и складов.

Но лишь прикоснется дыхание вечернего света
остывшего свода в огромном темнеющем храме —
лицо через стол от меня освещает утрата.
Несбывшейся дочери лик в исчезающей раме.

* * *

Летят за Бангором на север безбрежные мили —
на север, наверх, на Квебэк, на дыхание Гольфстрима,
как детская память, синеют канадские ели,
и души заброшенных ферм проносятся мимо.

Олени бегут на случайную верную гибель,
висит голубика, как грозди карельского лета,
и дышат озера лучами холодного света,
и в них истекают во мхах ледниковые реки.

На лесоповалах когтисты скелеты разрухи,
и пьют шоферюги по барам дощатого счастья.
Тут, словно на Кольском, мужей выдают на поруки,
и шинная гарь стынет в недрах горелого леса.

60

Ползет паутина по саду заброшенных яблонь.
В развалинах — тени, оставивших дом поколений.
Бобрами заброшены на зиму вежи плотины,
просели на просеке без лесовоза поленья.

Но к декабрю полоса между небом и полем
становится гранью кристально сухого мороза.
Как будто бы Фрост задержался у частокола
и что-то бормочет, хрустит у сиротской березы.

Близкое небо Вермонта.
Тучи, идущие низко,
за линию горизонта,
за ледяные карнизы,

за тонущие вершины
в остановившейся дали.
Фермы, часовни, лощины,
плотины в синеющей стали.

День, погасая, стынет.
Тянется тень сегодня.
Снег на ладони сына —
тающий дар Господний.

Даллас — метрополис одного убийства.
Дороги дышат мазутом до злой одышки.
Парусина неба затянута влажной слизью,
дальний зов койотов на падаль, безмолвие вышек.

Здесь ничейных прерий безмерна зона.
Ветер с нефтью, дым виснет на голых и ржавых соснах.
Иногда во сне я сюда возвращаюсь снова,
к этой хмари в ночи сырой, купоросной.

Потому что здесь я простился с давнишним домом,
и душа поплыла по волнам забвенья,
но забвенье все же до воскресенья —
до звонка отца на судьбы изломе.

Я все тот же, пап, не забыл ни слова.
Что мне годы все эти в транзитном таможенном зале.
Я не помню имени той, что слева
назвала мое имя, не засыпая.

Берег Майами — арт-деко урбанной, лианной природы.
Зубчатый берег — мишень в перископе советской подлодки.
В пенном исчадьи прибоя тают субтропики,
в холлах прохладных воркуют метеосводки.

У «Делано» растворяются в сумерках бляди.
Рядом хибары — как после бомбардировки.
С острым «Мартини» нежно за доллар закуришь «Гавану»,
глядя на светлые соты стеклянной коробки.

В пыльных проулках «Марти» трубит в свои ржавые трубы,
но ароматны «Кохиба», «Корона», — полно контрабанды.
Татуированы торсы, проколоты губы,
но вечерами в Майами, как на мид-весте, безлюдно.

На горизонте —- бесплатный закат над Гаваной,
неразличимый давно одряхлевшим солдатам Батисты.
Резко ложится на курс береговая охрана.
Кошки дичают в саду Хемингуэя, в Ки-Весте.

На мормонской морозной игле светило померкло,
и родные места загорелись стеклянной листвою.
Каменистый ручей к декабрю превращается в зеркало.
Вот Thanksgiving, и пригороды Вашингтона
по утрам застывают на дне голубого раствора.

Это северный Юг, где мы когда-то любили
синь газонов и реку в дремучих лианах.
Все останется, но постольку поскольку
остается хоть кто-то из тех, для которых не странно
расставлять бесполезные вещи на время по полкам ничейным,

на ничейной земле постоянного перемещения.
Средь разбитых зеркал мне знакомо лицо анонима,
вновь воскресшего, не просящего о прощении,
после четверти века любви, проходящего мимо.
Потому что, раз нету любви — нет и прощения.

Есть, однако, прощанье. Не то с языком созревания,
не то с воздухом в мертво-резервном пространстве.
Когда все ускользает, остаются хрусталики зренья,
среди мертвых окопов — озерный хрусталь Зарасая,
скифский дар — халцедонный прибор Коктебеля.

Не грусти. Все равно мы живем на краю Средиземного моря:
дымный запах акаций, ржавый танкер и тающий берег.
Все пройдет и остынет. Но есть предрассветное горе.
Когда души расходятся, больше друг другу не веря.
Это значит, не верить себе, забыв о потере,

и готовить себя к своему же другому рождению.
Наклонясь над постелью, память вспомнит по воскресеньям
о глубинном тепле, постойт надо мной,
и простынет след ее, затихая шагами за дверью.

Все то же осталось во мне, все то же осталось,
Все тот же акцент, и шрам на руке, и та же усталость,
и книжный развал на полу, и музыка шума,
и наши бездомные встречи проносятся мимо

машины — дорогой на север, знакомой дорогой,
ведущей навстречу любви, судьбе, вдоль речки, сквозь годы,
по зоне газонов, уже изумрудных под утро,
и капли плывут по стеклу задумчивой ртутью.

Это — Хэллоуин: паутина на небе, на окнах. На страже
патрульной машины сирена, и все это — наше.
Подаренный жизни случайный кусок, погашенный, нежный.
Так кончился этот безжалостный век. Другой, безмятежный,

не нам обещает приют какой-то там доли.
Природа там — северный юг: лианы у школы.
И пьяница с виски дешевым стоит на пороге,
и выдох холодный с реки — лишь память о снеге.

63

Я помню ту жизнь, параллельную жизнь, за преградой,
за тонкой прозрачной стеной остывшего сада.
Как будто подходишь ты снова и медленно шепчешь,
и слов не понять, не понять ничего, но от этого легче.

И я разбираю, как будто, движение губ — безмолвное мещо.
Я долго смотрю и смотрю, и бьется к тебе ожившее сердце.

«Жизнь моя идет как обычно:
заботы, поддержание очага, борьба со стихией.
Пришло время собирать нападавшие яблоки.
Они лежат вперемешку
с замерзшими мышинными тушками,
добычей нашего кота.
Сколько ни сгребай листву,
земля становится желто-бурой к утру,
будто никто тут никогда и не жил.

В последнее время ветры вносят полный хаос,
газон усыпан сломанными ветвями и похож
на перекопанное кладбище деревьев.
Холодная ранняя осень нагринула,
и теперь кажется, что мы проведем остаток жизни
на дне истлевающего лиственного моря.

Однако отъезд и побег от домашних забот
никакого покоя не сулят:
одевать детей, наскоро есть
в придорожных кафетериях, переругиваться
с мужем в машине по поводу семейного бюджета,
сдерживать мочевой пузырь до последнего,
съезжать с шоссе в незнакомые городки,
спрашивать дорогу у местных жителей,
заглядывать в их глаза, жалеть их

за то, что у них такая жизнь,
как и они, наверное, жалеют нас за нашу,
лежать в ничьей постели в мотеле
ночью с открытыми глазами,
сквозь наглухо закрытые окна
осязать запах стерильных поверхностей,
мертво-синего квадрата воды во дворе,
слушать дыхание большой реки,
несущей свои воды
среди незримых темных холмов
до самого конца,
туда, где начинается бесконечность,
где океан сливается с небом,
тлеет восход, и где не надо
вставать утром и будить близких.»

Администрации ветеранов окостеневшее ведомство.
Госпиталь — крепость на останках пожарища.
Калеки Вьетнама от времени в бегстве
под утро в палатах с наркотиком тающим.

Там Марлборо газ, пожирающий легкие,
там роботов речь через трубки гортанные.

Я помню лицо обгорелого летчика,
который коснулся крылом камикадзе.

И юных врачей полуночные бдения.
Надежды и письма в Москву покаянные.
В искусственном воздухе, словно растения,
те лица статичны на расстоянии.

Четверть столетия любви и рассеяния,
покоя в потере последнего дома, но
себя осознания в каждой потере, и
со временем найденный временный дом.

Я помню — сквозь темный раствор охранительные
плывут вертолеты на базу в Вирджинию.
Так память смывает черту ватерлинии
между двумя несравнимыми жизнями.

Время прошло незаметно, неслышно, отложены мысли до осени.
Сколько центов стоила марка: двенадцать ли, двадцать восемь?
И пиво «Блю Риббон» — пару долларов пачка. И дочери
первое с колотым кварцем колечко.

65

Прощай, Мериленд, безраздельная молодость жизни
после прыжка сквозь Атлантики пенную бездну.
Я боялся остаться один. Это, значит, свободным
я не бывал: так любовь неизбежным obroком
душу возьмет, да забудет в метро ненароком.

Сердце мое, словно жизнь в коммунальной квартире.
Донное пламя горит, да подмокла там сера.
Я выхожу поутру, и к капоту льнет влага рассвета.
Тянутся ветви деревьев ко мне за безмолвным ответом.

Что мне сказать, на каком языке объясниться?
«Stairway to Heaven» звучит сателлитною птицей.
Листья травы, умирая, оставили корни,
словно грибницу любви среди мерзлого дерна.

Я нажимаю на газ, исчезаю в низине
и пропадаю в пути к своей неизвестной отчизне.

К распахнутой дельте мутнеют тягучие воды.
Текучая глина забытой, темнеющей эры.
Река открывает раскопок послойные годы:
летающие стрелы скелетов трески, банки пива.
И медленным пульсом живут по сезону карьеры.

Здесь люди живут берегами вдоль тающей дамбы:
«баттюры», бродяги, искатели дикого мяса.
И дельтовый блюз, словно волны от медленной бомбы,
плывет от дощатых построек к бездонному руслу.

Здесь виден предел упоения невозвращеньем,
вернее, естественный путь истекания кровью.
И колокол дальней общины гудит благовещеньем,
и туча над ними висит всем обещанным кровом.

И всходит над дельтой во мгле звезда Вифлеема,
сливается с тысячей точек, бегущих по плавням.
Ночами ясны очертанья плавающего дома,
и еле слышны голоса на таком расстоянии.

Я люблю тебя все равно, даже когда, как зверь,
шкуру свою оставляю с безродной тварью.
Все позабуду, захлопну накрепко дверь.
Я себе сам порой до конца не верю.

Мертвенным молоком полнится эта ночь.
Тенью в ничейный куб зайдешь ненароком.
Запах прогорклой жизни и отпечатки губ,
и инвалидный дух — донная жизнь порока.

Тени ночных такси в слизистой Бурбон-стрит.
Из-за угла навзлет черных девчонок всплески.
Место чужой игры, кладбище их любви.
Издалека слетаются в потный котел подростки.

Хищников нет в этой долгой, влажной ночи.
Хищников нет, только проходят жертвы,

чтобы дожить до утра и хоть на день залечить
жизнь на живую нитку, среди вчерашних мертвых.

Утром мы выпьем кофе вместе среди живых,
сделаем вид, что знаем, как по закону жить нам.
Я тебя все равно люблю. Тщетно живу, как все.
Но в Орлеан не хочу. Там по-прежнему больно.

«Все очень мирно. Лук всюду растет,
хотя зима, но сад живой и свежий:
салат, томаты, базилик, укроп.
Скучаю по тебе, но глуше, реже.

Стихи твои живут, метафоры висят,
пернатые на проводах провисших.
Записку в банке принесет прибой,
и голос твой в моей судьбе все слышен.

Всего лишь год прошел, но вот, идут на ум
лишь дамбы, плавни, веер автоматный,
и влажный шорох страха под мостом,
и трупы у кофейного прилавка.

67

И мрачная процессия гробов
от кладбища, через проспект, на волю,
покинув тихо временный альков,
вдоль брошенных, погибших островов,
в открытое безжалостное море».

Удушливой, масляной ночью койоты тенями,
вблизи небоскребов, стоящих на черном болоте.
Бездонная прерия бьется в бетонные стены,
и мертвой петлей толлвэй на крутом развороте.

Трудно представить тоску бесконечных заправок,
дно пустырей и стаи ночных проституток.
Это та пустота, где нету ни левых, ни правых.
Газовой гнилью плавней город дышит под утро.

Роскошь испанских домов в магнолиях рядом.
Сладостным ядом наполнены дни на верандах.
И возвышается мраморным храмом громада —
раковый корпус: пристанище рая и ада.

Я выхожу из кино, после «La Dolce Vita»,
дар одиночества в зоне чужбинной культуры.
Чуждое южное небо на память звездно открыто,
и погасают огни на плаву, в задыхании ветра.

Так далеко обещанье предвиденной жизни,
так согревает к рассвету свободы бездомность.
Сердце бормочет ритмично псалмы или песни,
и источает желанье любви полночная жимолость.

Ветер стих. Зайди за угол, передохни.
Отпускает в груди. Вверху загорается уголь.
Боль стихает. Все одно, куда ни гляди.
На закате: Луга, Бостон, Барт, Анн-Арбор, Калуга.

68

Дым ложится в затихший окопный Гудзон,
скрывая конечную сущность парома.
Запретить бы совсем, сейчас как пойдут по низам...
Все теперь мастера в ремесле покидания дома.

Размозжи мою мысль, мою речь, эту грусть
на волокна, частицы, впусти в этот город, как влажность.
В общем шуме не слышно, кого назовут,
да теперь и не важно.

Лучше бы помолчать, когда нету и слов,
слушать тающий шум погасания пепла.
Когда смотришь подолгу, Свобода подьедмет весло
и Манхэттен плывет в пионерское лето.

Все смешалось, разъято, позволено, разрешено.
И ползет, как безвкусный озон, безопасная зона.
Все в прострелах мосты под ничейной луной,
и дичает ландшафт без тени на полгоризонта.

Опадают пепельные лица
осенью в Нью-Йорке.
Асбестовое солнце не гаснет
ни днем, ни ночью.
Многоглазая рыба на суше —
взорванный остров.
Крыш чешуя
зарастает цветами.
В гуде сирен —
безответное небо.
Сумерек астма —
в аспидном кратере порта.
Люди бредут на пожар.
Рыбы плывут — где поглубже.
Парки пусты на рассвете,
и только колеблемо ветром
нежное поле
проросших под утро сердец.

69

Стечение времен, где не находят места
провалы голосов, зияние извне.
Сыреющие дни, под сумрачным навесом
окрестных городов дрожащие огни.

Гниет река и, чествуя начало,
гербарий осени торжественно раскрыт.
Прохладный тлеет парк,
над брошенным причалом
сочится свет в церковные дворы.

У зеленой — языческие краски,
и статуя корейца на углу
безжизненна. Закат. Витрины гаснут.
День бесконечен. Я тебя люблю.

Риверсайд парк листвою медленно выстлан.
Булдоджка счастлив, клубочек тепла лучится.

Я с того берега, слава тебе Господи, выслан
в город, где всех нас выкормила волчица.

Riverside Park is slowly covered with foliage.
A little dog is happy — the tangle of warmth in the low bushes.
I was, thank God, exiled from suburban lodgings
across the river, where the she-wolf of this city reared us.

Мы в плавучем дому теперь, дорогая.
Зеленая память московских дворов мерцает.
Закроешь глаза, дотянешься до родного.
Но где оно спит, мы и не знаем сами.

We are now in a floating house, my dear.
The green memory of Moscow courtyards flickers.
You will close your eyes and reach out to everything you hold dear —
but we ourselves do not know where it sleeps.

Это наш дом, где наше не знают имя, но
рыбой мезуза летит на свет от порога.
Зимней грозой по реке прошумел Уитман.
Только из этой реки ты не пей на дорогу.

This is the house where they don't know our name, but where
the mezuzah flies like a fish from the doorstep wherever.
Whitman thunders along the river like a winter's storm,
but don't you drink for the road from that river.

On the other side fire-flies flicker above New Jersey,
to the Far North upwards in the valley.
On the final shores we will remain together.
Manhattan sails out to the sky on a stone ice floe.

За рубежом светляки дрожат над Нью-Джерси,
дальним путем на север, вверх по долине.
На берегах последних мы остаемся вместе.
В небо Манхэттен плывет на каменной льдине.

Льготный тариф закончился.
Снег отлежался.
Природа прощается с жизнью.

Жемчужен скол молока.
Я ухожу на прогулку.
Где-то родился ребенок,
наивно-речист.

Мне остается чудесное слово
сказать на прощанье.
На почту зайду,
полюбуюсь на флаг.
У реки магазинчик
заброшен теперь, заколочен,
хозяин-старик,
сухой ветеран морпехоты,
пропал прошлым летом.

Дойду до любимой
лавчонки местных сокровищ.
Куплю ожерелье,
браслет, два кольца
и кулон для любимой,
которой не знаю.

71

Я дышу вместе с лесом по мере движения крон.
Подступает дыхание с пяти окоемных сторон.
Замолкает знакомый мне дятел.
Снег лежит до утра, до апреля, до мая, пока
не наступит пора
всем зайти на чаек
в мой просвеченный дом,
за вечерний порог.
И послушать со мной
хруст заросшего леса,
тихий скрип половиц.
Когда там никого —
тот язык, на котором молчит
душа места.

Затихает в долине рокочущий джип.
Патрулирует где-то невидимый МИГ.

Среди снега тут жил одинокий старик,
где на стыке дорог стоял дом-магазин,
а теперь — только снег.

Навсегда заколочено в доме окно.
Счет за свет и за газ просрочен давно
и в дверях не видать человека.

Здесь плывут облака ледяных островов,
исчезают снежинки не тающих слов,
и уходит на север дорога.

Постепенно останутся позади
люди, лодки, грибы и березы.
Будет дом мой стоять, как корабль на мели.
Чистый лист на столе, листопад на дворе,
вдох и выдох стиха на морозе.

Там мне нечего больше ни ждать, ни жалеть,
никого, ничего. Только ветер
бормотать будет необъяснимо.

72 Так останется остров в лесах — материк.
Там я сплю чудным сном у слияния рек,
и мне снится далекий закатный восток,
и сентябрь с легким привкусом дыма.

Ветер в долине Гудзона, от гавани ветер и морось.
Влажный мороз, непривычный переселенцам.
Мы здесь живем, проживаем и пробуем голос,
и по ночам уплывает за дальними близкими сердце.

Здесь по зеленым холмам светляки погасают,
только под утро, когда мы запаяны вместе,
словно по сотам, мостами, туннелями, всеу.
Так тяжело — предупреждал Заратустра,
но закрываешь глаза — и увидишь родное:

хляби над ямой Ньюарка, болото Медоулленда,
и Веразано, висящий над выходом в небо.
И, обживая долину, поймешь — нет ни гона, ни плена.
Метка кашрута на корке орловского хлеба.

Зрелищ навалом, но память строки осязает
ту перекличку пропавших в глуши электричек.
Сколько десятков повязка привычно сползает,
но и смеешься уже почти по привычке.

Некогда плакать. Осталось попить из-под крана —
то ли с похмелья, то ли с таблеткой от нервов.
Висят по деревьям — совы депрессии странной.
Но отлетает отчаянье на север, к гипербореям.

Ветер в долине. Из дома, где я проживаю,
к чуждой Европе к рассвету уплыли солдаты
первой войны, и второй. Расцветают тут к маю
каменным цветом судьбы гелиотропы.

Мы живем на закате. Садимся за ужин не тайный.
Рестораны открыты, и очередь, полная веры,
наблюдает луну по пути на земное задание.
Тает в стынущем свете плывущий от берега берег.

73

За фигурой богини, парящей у кратера взрыва,
катера пропадают в тумане наизготовку.
Мы живем на краю той земли у китового зева.
Полосатое звездное небо линияет на древке

безымянной свободы земли, оторвавшейся древле
от далеких фиордов; хранящей генетику хлада.
Это наша свобода заката и неба, и внемлет
мой герой и любовник для полного счета, когда

магазин закрывают до срока, и кашляет осень,
остывает харчо, «Самовар» погасает к рассвету.
И на ушах — спит лапша от талдычащих авторов песен.
Но теперь никому не призвать тех, причастных, к ответу.

Да и что остается: пройти по бордвоку случайно,
подышать океанской, на счастье просыпанной, солью.
И тогда, по ночам, поначалу родное, отчаянье
превратится с годами в какую-то жизнь, но без боли.

Прогуляться в Европе по древнему городу праздно.
Цацки, мелочь чужую швырнуть перед взлетом.
Или пройтись к Блумингдэйлу на sale стороной безопасной
по проспектам, когда-то сожженным огнем артобстрела.

И привычно зажить по закону заморского кода,
по режиму химчистки и часа последнего трэйна.
Так уйдут в энтропию любви все последние годы.
Легкий троп озвучит мой путь в суете бесполезной.

Возвращаясь домой до конца в долину Гудзона,
к арт-деко среди скал ледникового века,
знать, что жизнь, пролетев сквозь родную запретную зону,
оставляет в душе легкий тающий слепок.

СОДЕРЖАНИЕ

об авторе	5
<i>Человек ветра (В. Месяц)</i>	7
О ветре	17
Хамсин (поэма)	19
Иерусалимский синдром (вид из Нью-Йорка)	31
Байкал	35
«Дальнее дыхание весны...»	39
«Услышав голос тихий и глухой...»	40
«Летопись вздоха ...»	41
«Летя над океаном снега, ...»	42
«На чужом полуострове сердце спокойнее дышит...»	43
«Брожу по местам преступления...»	44
Сентябрь в Нью-Йорке	45
Дорога номер один	46
Над миром	47
«Не до свадьбы, но все перемелется...»	48
Нью-Йорк	49
Ветер в долине Гудзона (вместо предисловия)	50
Ветер в долине Гудзона (поэма)	54

Андрей Грицман

ГОЛОСА ВЕТРА

Книга стихотворений и эссе

Поэтическая серия «Русского Гулливера»

Руководитель проекта Вадим Месяц

Главный редактор серии Андрей Тавров

Макет и верстка Валерий Земских

«Русский Гулливер»

тел. +7 495 159-00-59

www.gulliverus.ru

russian_gulliver@mail.ru

Подписано к печати 20.11.2009. Формат 140 × 200.

Бумага офсетная. Гарнитура NewtonC.

Печать офсетная. Тираж 300 экз.

Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии «Cherry Pie»

112114, г. Москва, 2-й Кожевниковский пер., 12